

Н. ВАЛЕНТИНОВ

НЕДОРИСОВАННЫЙ
ПОРТРЕТ...

РОССИЙСКИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ИНСТИТУТ
СОЦИАЛЬНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Центр политической и экономической
истории России

33-5

12752

Н. ВАЛЕНТИНОВ

НЕДОРИСОВАННЫЙ ПОРТРЕТ...



ВСТРЕЧИ
С ЛЕНИНЫМ

МАЛОЗНАКОМЫЙ
ЛЕНИН

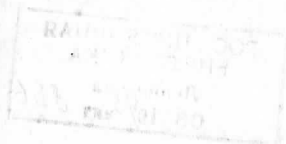
РАННИЕ ГОДЫ
ЛЕНИНА



МОСКВА

«ТЕРРА» — «TERRA»

1993



ад. Эпигоны Ленина это зловеще доказали. Относительно этого сектант-столяр оказался правым, более дальновидным и более зрячим, чем мы. В этом вопросе ему нужно уступить, но в другом вопросе я остаюсь при старой студенческой вере: господство «злых и бесовских людей», например тех, что засели в Кремле, может быть свергнуто, уничтожено не проповедью, а только силой...

СТОЛКНОВЕНИЕ С ПЛЕХАНОВЫМ. ПЕРВАЯ СТЫЧКА С ЛЕНИНЫМ

Вскоре по приезде в Женеву я познакомился с В. Д. Бонч-Бруевичем. Сейчас он один из немногих старых большевиков, «не ликвидированных» Сталиным*. Он был тогда редактором «Рассвета»⁶⁰ — ежемесячного журнала, выпускаемого по решению партийного съезда для пропаганды среди сектантов. Позднее Ленин и многие другие ставили на вид Бончу невыдержанное ведение журнала, и в конце 1904 г. он перестал выходить. Лично мне казалось, что лучшего редактора для такого специального журнала не найти. Бонч превосходно знал все сектантские течения России. Подобно палеонтологу, рассматривающему останки вымерших животных, или ботанику, исследующему под микроскопом строение растений, Бонч как бы с лупой анализировал разные формы и содержания сектантской мысли, классифицировал их по отделам, подотделам, ища за туманными схоластическими религиозными выражениями политический и социальный смысл. Весьма возможно, даже наверное, его эскизы мне покажутся сейчас грубыми. Тогда я этого не чувствовал: его классификации сектантского движения для меня были новы. К тому же плотная, «хозяйственная» купеческая фигура бородатого Бонча, сильно отличавшаяся от обычного вида «марксистов», мне была симпатична, как и его супруга В. М. Величина, которой, с каким-то подчеркнутым почтением, он говорил не «ты», а «вы». Кроме симпатии было и чувство благодарности: благодаря Бончу я, в течение некоторого времени, имел небольшую платную работу в экспедиции «Искры». Моим рассказом о киевском кружке сектантов и о Семене Петровиче Бонч живо заинтересовался.

— Батенька, да об этом непременно надо писать! Даю вам в «Рассвете» место на три большие статьи. В первой вводной обязательно дайте общий анализ сектантского движения во всем Юго-Западном крае, а потом во второй и третьей покажите ложность и

* После Октябрьской революции, до 1920 г., Бонч-Бруевич был управляющим делами Совета Народных Комиссаров. Попав за некоторые проступки в немилость Ленина — долгие годы был в тени. При Сталине его положение улучшается. Он делается директором Государственного Литературного музея, а с 1946 г. — директором Музея истории религии при Академии наук. С 1951 г. звезда его снова меркнет. (Примеч. авт.)

казуистику сектантских вопросов и разверните картину ваших споров с Семеном Петровичем.

— Кроме кружка Семена Петровича, я других сектантов не знаю. Я не могу дать что-либо существенное о сектантском движении во всем крае.

— Я вам дам материал. Без вводной статьи нельзя обойтись.

Эта первая «вводная» статья, написанная в конце января, появилась в мартовском номере «Рассвета» (за 1904 г.). Хотя у меня уже была, данная Лениным, партийная кличка Самсонов, я подписал ее — «Н. Нилов», а Бонч сделал к ней следующее примечание:

«Товарищем Ник. Ниловым обещаны нам три «письма» «к вопросу о революционной работе среди сектантов». Эти «письма» нам особенно интересны и дороги, как плод непосредственной работы нашего товарища среди сектантов»*.

Не так давно мне удалось отыскать «Рассвет» с моей статьей в парижской «Bibliothèque de la documentation internationale contemporaine»**, обладающей самым богатым в Европе отделом русской революционной литературы. От статьи и всей ее ортодоксии, как от невыносимо кислого яблока, буквально скулы свело. Она столь неряшливо и плохо написана, что могла бы сейчас быть помещенной в любом советском органе. Кончая ее, я указал, что сектанты копаются в таких вопросах, которые от пропагандиста, имеющего с ними дело, требуют известной философской подготовки, и в следующих статьях я обрисую, с какими специфическими вопросами пришлось встретиться в киевском кружке сектантов. В отличие от первой «вводной» статьи, написанной наспех, без необходимого материала и знания, я много работал над двумя другими. Для них был живой материал, память сохраняла даже малейшие детали споров, что полгода пред этим пришлось вести с Семеном Петровичем и его товарищами. Статьи были написаны, но в печати не появились. Они оказались косвенными виновницами моего столкновения с Г. В. Плехановым, а в связи с этим столкновением — большим и неприятным спором с Лениным, первой стычкой с ним, которой уже намечались причины моего будущего ухода от большевизма. Со статьями, принесенными Бончу в середине февраля, произошла следующая история. Прочитав их, Бонч поморщился:

— Во-первых, очень велики, а во-вторых, вы слишком много в них напустили философии. Их придется послать на отзыв Плеханову.

Плеханов был официальным философом партии, высшим блюстителем ее ортодоксальной теоретической чистоты. По статуту партии «Рассвет» был подчинен Центральному Органу партии — «Искре», а она с ноября 1903 г., после ухода из редакции Ленина, стала «меньшевистской». Большевик Бонч опасался, что в случае присутствия в моих статьях каких-либо философских «ересей» «Искра» придерется к ним, чтобы показать, какие плохие марксисты

* *Рассвет*. 1904. № 3. С. 72.

** Библиотека современной международной документации (фр.).

находятся среди идущих за Лениным лиц. Исходя из этих соображений, статьи «товарища Нилова» с некоторыми сведениями обо мне Бонч-Бруевич и послал для «цензуры» Плеханову. Тот держал статьи долго, а потом (в начале марта) прислал Бончу следующую записку:

«Присланные вами статьи заслуживают внимания. Их автор, видимо, занимался философией. Пошлите этого человека ко мне. Пусть придет в такой-то день и час».

Выражение «пошлите этого человека ко мне» — сильно меня покорило. Вместо «человека» было бы приличнее поставить «товарища». Все же было приятно, что Плеханов усмотрел в статьях следы изучения философии. Я действительно ею много занимался, и не один год, и историю философских систем знал лучше, чем, например, историю революционного движения. Визит к Плеханову, возможность с ним познакомиться мне представлялись делом очень интересным. В глазах русских социал-демократов он считался одной из выдающихся голов Социалистического Интернационала. В то время у нас, точнее сказать, в некоторой части молодых социал-демократов, «акции», например, Геда и Лафарга котировались очень невысоко. Мой коллега по Киевскому комитету партии Н. Ф. Пономарев даже находил, что пропагандистов масштаба Геда и Лафарга можно найти в любом подпольном российском комитете, что, может быть, и не было так далеко от истины. Жореса мы знали очень поверхностно и, так как он не был «ортодоксом», к нему не прислушивались. Фигура Вандервельда, начинавшего свою политическую карьеру, была неясна. Бернштейна — библейского змия, соблазнявшего революционных Адамов и Ев впасть в буржуазно-ревизионистское грехопадение, опасались. Кто же тогда оставался на самом веру? Только трое: Бебель, Каутский и Плеханов, причем самым левым из них, о чем говорила его яростная критика Бернштейна, считался Плеханов. «Левизна» сильно соблазняла, но сама личность Плеханова, носителя этой левизны, меня не притягивала. В неизмеримо большей степени меня интересовал Ленин. Происходило это оттого, что, в отличие от предыдущего, старшего, «выпуска» социал-демократов — Ленина, Мартова, Старовера, Дана, — если называть только этих, входивших в марксизм при сильном влиянии на них Плеханова, для последующего выпуска он уже не всегда играл роль Иоанна Крестителя. Ввод в марксизм многих, в том числе и меня, происходил вне преобладающего влияния Плеханова. Я уже сказал, что с марксизмом в конце 1897 г. я стал знакомиться в Петербурге при посредстве М. И. Туган-Барановского, и у меня никогда не было ни того поклонения пред Плехановым, ни той влюбленности в него, которые так характерны в 90-х годах для старшего выпуска социал-демократов.

Я не считал его своим учителем и по другой причине. Утолить жажду, иметь не «взгляды», а «цельное», отвечающее на все вопросы мировоззрение представлялось невозможным без помощи философии, а даже самое первичное знакомство с нею, в виде «Критически

чистого разума» Канта, «Истории материализма» Ланге, истории философии Льюиса, Вундта, логики Милля, вело к полной неудовлетворенности тем, что о философских проблемах писал Плеханов. Его книга на немецком языке о материализме (я получил ее от Туган-Барановского) с подавляющим влиянием на него мыслителей XVIII века — Гольбаха, Гельвеция, Ламеттри — отшатнула своей чурбанностью. Большие и тонкие проблемы философии исчезали из его горизонта. Нельзя было отделаться от недоумения: как может большой и остроумный писатель иметь такую малюсенькую философию? Я тогда же решил, что, если бы не было другого выбора, а только: Плеханов или, как говорилось, «вульгарный Бюхнер», выбор пал бы на последнего. В его «Силе и материи» есть, по крайней мере, система, а не обрывки неясных, несогласованных положений, с излишком высокомерия бросавшихся* Плехановым. Отталкивание от его философии привело к тому, что его книга «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» (1895 г.), считавшаяся самым блестящим его произведением и увлекавшая других, не вызвала во мне никакого восхищения, оставила холодным. Когда я как-то сказал об этом Крупской, та от удивления рот раскрыла. Она увидела в этом мою неспособность понимать вещи высокой ценности. Она сказала об этом Ленину, у которого это вызвало такое же удивление.

Большое чувство неудовлетворенности оставял у меня Плеханов и своим решением вопроса о роли личности в истории, а этот вопрос в то время особенно интересовал, я бы сказал — даже мучил. П. Б. Струве в период наибольшего притяжения им марксизма объявил, что на весах истории с точки зрения социологической личности, в сущности, *quantite nagligeable*** . Плеханов опровергал такой взгляд. Он доказывал, что значение личности и тех, кого он называл «начинателями» (среди них он мыслил, конечно, самого себя), весьма значительно, но только тогда, когда личность отдает себе отчет в продиктованном *необходимостью* ходе исторического процесса, становится «сознательным выразителем и орудием бессознательного процесса». Свобода, восклицал Плеханов, вслед за Шеллингом, есть осознанная *необходимость****. Все это было очень гладко написано, но в первые годы знакомства с марксизмом порождало у меня чувство какой-то тоски, тяжелой придавленности: воздуха нет, потолок давит, хочется отсюда выйти скорее. Торжество социалистических идеалов, пояснял Плеханов, предполагает как свое необходимое условие независимый от воли социалистов ход экономического развития общества. Неужели всегда от их воли независимый и в какой степени независимый? Споры и разговоры о том приходилось вести и в Петербурге в 1898 г., и в Уфе в 1899 г. (с народником Ольшевским), и в Киеве. Если ход развития общества от социалистов

* Так у автора.

** — незначительная величина; величина, которой можно пренебречь (лат.).

*** См.: Плеханов Г. В. Соч. Т. 8. С. 278.

не зависит, в таком случае — они пятая спица в колеснице? В молодые годы, когда брызжет энергия, роль пятой спицы особенно претит. По этой причине и была так симпатична книга Ленина «Что делать?», проникнутая буйным волюнтаризмом, провозглашавшая: «Дайте нам организацию революционеров — и мы перевернем Россию!»

Не могу не вспомнить жаркую полемику по поводу формул Плеханова весной 1902 г. в Киевской тюрьме. Ее пришлось вести с социалистами-революционерами — соседями по камере. Они доказывали, что в мировоззрение марксизма, в том виде, в каком его проповедует именно Плеханов, введен фаталистический элемент, принижающий роль личности, сковывающий ее волю. Пылкий социалист-революционер Н. И. Блинов, трагически погибший во время еврейского погрома в 1905 г., был всегда зачинщиком споров на эту тему. Поддерживая престиж Плеханова, я всегда возражал Блинову, главным образом из партийного упрямства. «Признаете ли вы, — спрашивал Блинов, — огромную роль во французской революции Робеспьера?» — «Конечно, признаю». — «Признаете ли вы, это уже совсем в другой области, роль таких гигантов, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль?» Имена были слишком громки, чтобы и без большого знания о творчестве этих лиц и их роли в истории искусства не сказать: «Конечно, признаю». — «А если так, — торжествовал Блинов, — отрекайтесь скорее от идей Плеханова, своими ответами вы уже показали, что их не разделяете». В подтверждение он приводел следующие цитаты из статьи Плеханова «К вопросу о роли личности в истории», под псевдонимом Кирсанова напечатанной в 1898 г. в журнале «Научное обозрение».

«Если бы случайный удар кирпича убил» Робеспьера, «то его место, конечно, было бы занято кем-нибудь другим, и хотя бы этот другой был ниже его во всех смыслах, события все-таки пошли бы в том самом направлении, в каком они пошли при Робеспьере...»* — писал Плеханов.

В таком случае что такое Робеспьер? Пятая спица в колеснице. У колесницы ход «независимый» от всех Робеспьеров. А вот другая цитата.

«Если бы какие-нибудь механические или физиологические причины... еще в детстве убили Рафаэля, Микеланджело и Леонардо да Винчи, то итальянское искусство было бы менее совершенно, но общее направление его развития... осталось бы то же»**.

В формулах Плеханова был какой-то экивок, что-то ложное, против чего прежде всего протестовал темперамент. Доводя аргументы Плеханова до нашего времени, нужно сказать, что, если какие-нибудь «механические и физиологические» причины убили бы Ленина в 1903 г., Сталина в 1916 г., Гитлера в 1918 г., дальнейший

* Кирсанов А. (Плеханов Г. В.) К вопросу о роли личности в истории // Научное обозрение. 1898. № 4. С. 710.

** Там же. С. 713.

ход событий был бы и без них совершенно таким же, двигался бы в том же направлении, как и при этих личностях. Согласиться с таким взглядом невозможно.

Было кое-что и другое, что не притягивало к Плеханову. Он был талантливым человеком, но большой ум его был холодным, смотрящим на мир чрез черствые рационалистические схемы. Свойственного нам, молодым социалистам, энтузиазма, восторженности, преклонения пред идеей, образом, даже словом «социализм» Плеханов, в том можно быть уверенным, совсем не испытывал. Социализм был для нас чем-то очень хорошим, теплым, светлым, красивым и за эти качества желаемым. Социализм — освобождение, возрождение человечества под ласкающими лучами солнца гуманизма. Мы непрестанно ездил верхом на «экономическом факторе», но «экономика» была как бы некрасовской скатертью-самобранкой, ладьей, чудесно выносящей чрез капитализм, чрез мрачное море неравенства, бедствий, эксплуатации на лазурный берег будущего строя. Для нас социализм выражался глаголами *sollen*, *wunshen**. Для Плеханова он был не столько «долженствованием», сколько «исторической необходимостью». «Последователь научного социализма смотрит на осуществление своего идеала как на дело исторической необходимости». «Социалист служит одним из орудий этой необходимости». Что бы ни происходило в капиталистическом обществе, оно неизбежно, с железной необходимостью, будет замещено социалистическим строем. Это своего рода фаталистический механизм, и мне казалось, что у Плеханова его было неизмеримо больше, чем у Маркса, и намного больше, чем у Ф. Энгельса. По Плеханову, вне зависимости от того, что делает или не делает личность, социализм — неотвратимый финал экономического развития современного общества. Присущие ему жестокие противоречия и классовая борьба неизбежно должны окончиться диктатурой пролетариата и социализацией средств и орудий производства. А дальше что? Это Плеханова не интересовало. «В социалистическом строе, — заявил он однажды Крупской (в 1901 г.), — будет смертельная скука: в нем не будет борьбы». Бедная Крупская от слов Плеханова чуть было не упала в обморок...

Таковы доводы, чувства, убеждения издавна, с первых годов знакомства с марксизмом, не делавшие меня поклонником Плеханова. Однако познакомиться с ним, повторяю, я очень хотел и в назначенный им день и час, точно, без минуты промедления, явился к нему. Меня ввели в большую темноватую комнату и попросили подождать. Прошло пять, десять, пятнадцать минут. Было слышно где-то стуканье посуды и передвигание стульев, а потом — гробовая тишина. Проходит двадцать, двадцать пять минут. Я начал от нетерпения ерзать на стуле. Чтобы напомнить о себе — кашляю и громко сморкаюсь. Тишина. Проходит тридцать минут, и я решаю:

* — долженствовать, желать (нем.).

буду медленно считать до 30, а после этого открою дверь и уйду. Как раз в этот момент и появился Плеханов.

Я видел его впервые. Бросились в глаза густые, сросшиеся брови, имевшие, как у одного персонажа Мопассана «l'air d'une paire de moustaches plâtrées par erreur»*. Бросился в глаза особый, «натянутый» облик Плеханова. Он учился в военном училище, потом в юнкерском училище и, по словам Л. Г. Дейча, его старого товарища, стремился всегда сохранить военную выправку. Его не славянское, а скорее восточного типа лицо — грузина, осетина, узбека (в самой фамилии Плехан — нечто татарское) — ошеломило меня сходством с человеком, которого я хорошо знал. С кем? Георгий Валентинович Плеханов был удивительно похож на своего брата — Григория Валентиновича Плеханова — полицейского исправника. Вот судьба! Один брат — революционер и выдающийся член Социалистического Интернационала, другой — полицейский чин, обязанный охранять царское самодержавие от посягательств революции, руководимой его братом. Отец Плеханова, о чем я узнал позднее, был женат два раза, второй раз на Белинской, отдаленной родственнице знаменитого Виссариона Григорьевича Белинского. Георгий и Григорий Валентиновичи родились от второго брака. Кто из них был старше — не знаю. Сходство их внешнего облика, повторяю, было поразительным. Главное отличие, пожалуй, в том, что Григорий Валентинович был ростом выше и всегда носил пенсне. Плеханова-исправника я знал очень хорошо. Свой пост он занимал в городе Моршанске Тамбовской губернии, где жили мои родные, где я вырос и учился в реальном училище. В той же губернии, недалеко от города Липецка, в деревне Гудаловке, в помещицкой семье, родился 25 ноября 1858 г. и Георгий Валентинович Плеханов — «отец русского марксизма», с произведением которого в начале 1889 г., как он сам мне сказал, впервые познакомился 19-летний Ленин-Ульянов.

Исправника Плеханова ни в коем случае нельзя было занести в галерею полицейских держиморд, описанных Щедриным. Правда, вид у него был важный и суровый, он горделиво носил военный мундир (и почему-то шпоры!), но по натуре своей был очень мягок, как говорится не мог и мухи убить. Мой отец — в то время уездный предводитель дворянства, — всех и вся ругавший и презиравший, находил, что Плеханов относится к своим полицейским обязанностям с недопустимой халатностью. «Я даже допускаю, — сказал он однажды, — что сей вояка, брэнчащий шпорами, находится в нежной переписке со своим братцем, который в Женеве крутит революцию». Так я узнал, что у нашего милейшего исправника есть опасный брат. И вот что в связи с этим я припоминаю. Это было в одно из воскресений весной, вероятно, в 1895 г. В такие дни вечером городской сад Моршанска с цветущей сиренью наполнялся обывателями, важно и солидно топтавшимися по главной аллее, длиною не больше трехсот метров. Из ресторана при саде оглушительно

* — «вид, напоминавший пару усов, помещенных здесь по ошибке» (фр.).

пахло жареными цыплятами и пирожками, а в павильоне военный духовой оркестр без усталости трубил «Невозвратное время» и другие вальсы. Я сидел на скамейке против памятника основательницы города «матушки царицы Екатерины Великой». Плеханов, прогуливаясь, увидев на скамейке незанятое место, сел рядом со мною. Он приходил к нам довольно часто играть в винт с моим отцом и, конечно, знал меня. О чем он меня спрашивал, с чего начался разговор — совершенно не помню, только у меня «спонтанно» вырвалась такая фраза:

— Григорий Валентинович, а ведь если придет революция, памятник царицы, наверное, повалят. Во время французской революции выбросили вон даже гробы королей. И чтобы «легализовать» мою фразу, я тут же прибавил:

— О таком безобразии нам на днях подробно рассказывал В. Д. Дейнеко (учитель истории).

Плеханов покосился на меня с видом полного удивления:

— Что за охота пустяки говорить! Если придет революция? Да она никогда не придет. В России не может быть революции. Она не Франция.

Плеханов говорил то самое, что вечно твердил мой отец, что в «Новом Времени», самом влиятельном органе 90-х годов весьма образно вещал его издатель — Суворин: «Я скорее поверю в появление на Каменноостровском проспекте Петербурга огнедышащего вулкана, чем в возможность революции в России».

Если бы Суворин дожил до 1917 г., он смог бы увидеть «вулкан» революции и Ленина, произносящего «огнедышащие» речи с балкона дворца балерины Кшесинской именно на Каменноостровском проспекте.

Не знаю, какой черт меня толкал, но после реплики Плеханова я спросил его:

— А ваш брат по-прежнему живёт в Женеве?

Не ожидал, что сей вопрос может произвести такой эффект. По лицу Плеханова пробежали смущение, даже страх. Думаю, что он никак не предполагал, что кто-нибудь знает (а если знаю я, то уже, наверное, знает мой отец и другие), что у него, исправника, такая политически его компрометирующая родня. Он поднялся со скамейки, выпрямился и совершенно так же, как во время публичных речей это делал Плеханов — женеvский, — деланно, неестественно, топнул ногой:

— У меня нет брата!

Быстро отошел от меня и больше разговоров со мною уже никогда не вел. Я ввожу в мои воспоминания эту историю с исправником Плехановым не потому, что одолеваем неудержимым желанием болтать, погружаясь в прошлое. Она мне понадобится в дальнейшем, когда буду говорить об одном письме Ленина в редакцию «Искры», о карикатуре, нарисованной Лепешинским, и «скандальном» выступлении «Нилова», инспирированным Лениным.

И вот девять лет спустя после описанной сцены с Плехановым—

моршанским я стоял пред его братом — Плехановым — женевским. Потому ли, что он был болен, в скверном настроении, чем-нибудь раздражен или просто потерял желание говорить о философии и пропаганде среди сектантов с каким-то Ниловым, посланным большевиком Бончем, Плеханов принял меня более чем холодно. Он не извинился, что заставил так долго ждать его «выхода», а, подойдя ко мне, передал мою рукопись и сказал:

— Вы правильно анализируете схоластику сектантов и правильно отвечаете на их мнимо философские и всякие другие вопросы. Тут, как и во всем другом, только материализм и Марксова диалектика дают в руки действительно оружие.

«Аудиенция» на этом была окончена. Приглашения сесть и побеседовать я не получил. А так как мое самолюбие было задето и долгим ожиданием, и ледяным приемом, я почувствовал острое желание перед уходом сказать в отместку Плеханову что-нибудь неприятное, такое, что должно было ему казаться вызывающей дерзостью. Холодным тоном, выражая ему благодарность за признание «правильности» моего анализа, я сказал, что «почитаю своим долгом» заметить, что в этом анализе философский материализм никакой роли не играл. «От этого материализма я окончательно ушел уже несколько лет и теперь убежден, что для экономической доктрины Маркса и его социологии, так называемого материалистического понимания истории, отнюдь не обязанного быть связанным с философским материализмом, гораздо лучшую гносеологическую основу дает эмпириокритическая философия Авенариуса и Маха». Как и нужно было ожидать, такой наглости Г. В. Плеханов перенести не мог. Не он ли доказывал, что социология Маркса предполагает и органически связана с философским материализмом в его, Плеханова, понимании? Когда Плеханов услышал мое «наглое» отрицание этой истины, его брови, усы угрожающе поднялись чуть ли не до половины лба:

— Авенариус? Мах?

— Извлекая из подвалов буржуазной мысли этих птиц, вы хотите с помощью их «исправить» марксизм? — грозно спросил он.

— Почему же непременно из подвалов и почему буржуазных?

— Ну, знаете ли, это легко понять даже при самом небольшом напряжении мысли. Видите ли, знающие люди считают, что на верху философской мысли стоят такие умы, как Кант, Гегель, Фихте, Шеллинг, Фейербах, французские материалисты, среди них ваших птиц нет. Значит, раз они существуют, то, нужно полагать, обретаются в какой-то более низкой, вероятно, очень низкой атмосфере. Я и назвал ее подвальной. А что же касается их буржуазности, ничто не должно вам мешать догадаться, что я знаю всех философов, по духу, по направлению мысли связанных с революционным учением Маркса и Энгельса. Смею вас уверить, что среди них ваших птиц нет. Они существуют вне всякого касательства к марксизму. А вне — это значит в атмосфере буржуазной идеологии.

— Из ваших слов я могу заключить, что с философией ни Авенариуса, ни Маха вы не успели еще ознакомиться.

— Не успел, и все как будто говорит, что я не смогу вам обещать знакомства с вашими птицами. Я занят по горло партийной и литературной работой. Я не имею времени, ни права заниматься пустяками, браться за чтение того, что иным людям по молодости, по недостатку опыта и знаний может казаться каким-то новым откровением, а в действительности является перепевом хорошо мне знакомых заблуждений.

Тон Плеханова (я со стенографической точностью передаю его слова, в свое время они были мною записаны) становился все более и более дерзким. В свою очередь раздражаясь, я пустил в него «пульку», которой уже пользовался в аналогичных спорах:

— Итак, вы не читали ни Авенариуса, ни Маха. Вы просто их не знаете. Вы сами это признаете, что не мешает вам их критиковать и налепливать на них этикетку: «буржуазные подвалы». По этому поводу мне вспоминаются слова Гейне: «Писателя Ауффенберга я не знаю, полагаю, что он вроде Арленкура, которого я тоже не знаю».

Плеханов очень внимательно посмотрел на меня, скрестил руки и, отчеканивая каждое слово, сказал:

— Отвечу вам кратко. Вашего Ауффенберга я потому испытываю весьма малое желание знать, что очень хорошо знаю его духовных предков, его мамашу, которая, сражаясь с материализмом, философски обслуживает классовые интересы буржуазии. Какие у этой ведьмы и ее потомков глаза — красные, желтые или белые, меня абсолютно не интересует. С меня достаточно знать, что это порода ведьм. На этом и окончим наш разговор. Жаль, что у меня не было времени более внимательно ознакомиться с вашей рукописью. Стоило бы проследить, не сказало ли где-нибудь в ней буржуазное влияние вашего философа, как бишь его — Ауффенберга.

Мне оставалось раскланяться и выкатиться кубарем из квартиры Плеханова. Я отправился к Бонч-Бруевичу, который сердито накинулся на меня, когда я рассказал ему происшедшее.

— Черт вас дергал за язык! К чему это было злить Плеханова, подсовывая ему каких-то философов! Теперь, поверьте мне, он возьмет вас на мушку, он непременно найдет в ваших статьях какие-нибудь вредные ереси. Я уверен, что на этой почве у нас могут быть неприятности.

Причинять неприятности редакции «Рассвета», т. е. Бонч-Бруевичу, я менее чем кто-либо хотел. Сразу кончая с разговорами на эту тему, я взял мою рукопись и на глазах Бонча порвал ее на мелкие клочки. Рвал по-глупому, с остервенением, досадой, раздражением. Бонч меня еще раз ругнул, но, думаю, этим концом остался доволен.

На другой день, придя к Ленину, я, разумеется, рассказал о моем визите к Плеханову. Плеханов ему импонировал, как никто другой, больше чем Каутский, больше чем Бебель. Все, что тот

говорил, делал, писал, его крайне интересовало. Он превращался в одно внимание, когда речь заходила о Плеханове. «Это человек колоссального роста, перед ним приходится съеживаться», — сказал он Лепешинскому. Пришлось рассказать, из-за чего весь сыр-бор разгорелся. Я должен был эту историю представить с самого ее начала, т. е. с описания киевского кружка сектантов, роли в нем Семена Петровича, его идей. Помню, что Ленин, засунув большие пальцы за борта жилетки около подмышек, стоял около меня (я сидел) и слушал с явным любопытством. По поводу веры Семена Петровича, его деления людей на «злых» и «совестливых», возможности построить социализм только руками «справедливых людей» Ленин что-то говорил. Припомнить его слова было бы сейчас не плохо. Я их не помню и думаю, особенно при отвращении Ленина ко всему морализированию, что его замечания по этому вопросу ничего особо интересного не содержали. Будь иначе, я их бы, наверно, запомнил. Наоборот, память превосходно сохранила то, что затем говорил Ленин, ибо тут обнаружилось мое первое с ним разномыслие, воспринятое мною с большой тревогой и неприятностью. Из него вытекало, что, несмотря на признание Ленина большим человеком, очень большую к нему симпатию, желание идти за ним и вместе с ним, есть весьма важные вопросы, отношение к которым Ленина меня отвращает. Я увидел, что, как бы ни было в области партийной враждебной его отношение к Плеханову, Ленин незамедлительно, без колебаний, встал на его сторону в области философии, притом в форме, произведшей на меня тяжкое впечатление.

— Вы заявили Плеханову, что материализм нужно заменить какой-то разновидностью буржуазной философии. Но ведь это вздор, вреднейший вздор! Плеханов трижды прав, дав вам немедленно отпор. Не нужно смешивать Плеханова, заседающего в компании оппортунистов в редакции новой «Искры», с Плехановым после смерти Энгельса, лучшим знатоком и лучшим комментатором марксистской философии. Несколькими фразами он вас отхлопал, и поделом! В этих вопросах у него нюх острейший. А я не знал — это для меня большая новость, — что и у вас склонность исправлять Маркса.

— Позвольте заметить, что Плеханов назвал теорию познания Авенариуса и Маха подвалом буржуазной мысли, даже не потрудившись с нею познакомиться, даже не прочитав ни одной их строки. Такое отношение к чужой и научной мысли меня возмущает. Это — шемакин суд.

— Во-первых, не думаю, что Плеханов не знает ваших философов. За философией он следит. А если он вам сказал, что их не знает, вероятно, потому, чтобы подчеркнуть свое презрение к ним. Во-вторых, напрасно возмущаетесь. Мы теперь превосходно знаем, к чему ведут пробы соединения Маркса с чуждыми его духу теориями. Это наглядно показывает Бернштейн, а у нас хотя бы Струве и Булгаков. Струве от поправляемого им марксизма быстро скатился к самому пошлому, вонючему либерализму, а Булгаков катится в

еще более мерзкую яму. Марксизм — монополитное мировоззрение, он не терпит, чтобы его разжижали, опошляли разными вставочками и приставочками. Говоря о какой-то критике марксизма, не помню уже о ком, Плеханов однажды мне сказал: «Сначала налепим на него бубновый туз, а потом разберемся». А я считаю, что на всех, кто хочет колебать марксизм, нужно лепить бубновый туз, даже не разбираясь. Такой должна быть реакция всякого здорового революционера. Когда на своей дороге встречаете зловонную кучу, вам не требуется копаться в ней руками, чтобы определить, что это за вещь. Вы носом сразу чувствуете, что это г-о, и проходите мимо.

От слов Ленина у меня дыхание сперло.

— Из огня Плеханова я попадаю в ваше полемя, — сказал я. — Плеханов говорит, что философы Авенариус и Мах, хотя они ему неизвестны, — ведьмы и, какие у них глаза, красные или желтые, его не интересуют. А другой наш теоретик — Ленин рекомендует, не разбираясь в их теориях, клеймить этих людей бубновым тузом. Вы все время повторяете: буржуазная философия, буржуазные философы. Теория Авенариуса и Маха не есть какая-то метафизическая концепция, это попытка создания научной теории познания, основанной только на опыте. Прежде чем лепить на нее бубновый туз — попробуйте ее узнать и в ней разобраться. Нет буржуазной или пролетарской астрономии, алгебры, физики или химии, нет и буржуазной теории познания. Речь может идти только о том — верна или неверна теория Авенариуса и Маха. Даже допустив, что в ней есть какие-то элементы, присущие буржуазному образу мысли, нельзя без предварительного доказательства клеймить ее авторов, как преступников, бубновым тузом. Вы упомянули Булгакова. Будучи студентом Политехникума, я был одним из участников его экономического семинария. Он организовал его для студентов, желающих в области социальных наук знать больше того, что дает в течение часа лекция по политической экономии. В этом семинарии мы при полной свободе ставили и обсуждали разные вопросы. И почти каждое наше собрание Булгаков открывал торжественным напоминанием: «Истина добывается честным, свободным, лояльным сопоставлением идей». Откровенно говорю, такой метод мне гораздо более по душе, чем ваш бубновый туз.

— Ах, вот как! Вы, значит, были в семинарии Булгакова! Еще одна новость! Не поздравляю, не поздравляю. Не под влиянием ли Булгакова у вас и появилась склонность к исправлению Марксовой философии? Это скользкая дорожка. Социал-демократия не есть семинарий, где сопоставляются разные идеи. Это боевая классовая организация революционного пролетариата. У нее есть программа, мировоззрение, принадлежащий только ей строй идей. В ней на особую свободу критики и сопоставление идей нечего рассчитывать. Кто вошел в партию, должен следовать за ее идеями, их разделять, а не колебать. Если они не нравятся — вот Бог, а вот порог, выход свободен. Мы хорошо теперь знаем, что скрывается за так называ-

емой «свободой критики», которую требуют не пролетарские, а именно интеллигентские, зараженные буржуазными предрассудками, элементы социал-демократической партии. Повторяю: молодец Плеханов. Он сразу почувствовал, что вас следует ударить.

— Владимир Ильич, смею вас уверить, ни в какой мере я ревизионизму не сочувствую. Если у меня есть симпатия к философии Авенариуса и Маха, то только потому, что она самым революционным образом сокрушает всякую метафизику. Познакомьтесь с нею, вы это признаете. Отвергая ревизионизм, все-таки не думаю, что марксизм есть нечто застывшее, раз навсегда данное, исключаящее какие-либо изменения. Плеханов однажды писал, что марксизм есть абсолютная истина, которую уже не отменит *никакой* рок. Как вы относитесь к этой формуле? Как совместить ее с диалектикой?

— Я полностью согласен с Плехановым. Маркс и Энгельс наметили и сказали все, что нужно сказать. Если марксизм нуждается в развитии, то только в направлении, указанном его основоположниками. Ничто в марксизме не подлежит ревизии. На ревизию один ответ: в морду! Ревизии не подлежат ни марксистская философия, ни материалистическое понимание истории, ни экономическая теория Маркса, ни теория трудовой стоимости, ни идея неизбежности социальной революции, ни идея диктатуры пролетариата — короче, ни один из основных пунктов марксизма!

Таково было мое первое разногласие с Лениным. Это было приблизительно в начале марта. Несмотря на мои вспышки во время беседы, Ленин все-таки не придавал им большого значения: я несколько раз ему сказал, что к ревизионизму ни в малейшей степени симпатии не чувствую. Благоволение ко мне Ленина еще не было нарушено. Лишь через три с половиной месяца, когда разногласие с ним приняло явную и острую форму, он вспомнит мартовский разговор и сделает из него дополнительный аргумент для занесения меня в стан «врагов». В день начавшего проявляться разномыслия с Лениным я чувствовал себя совсем не уютно. Если бы у меня была смелость заглянуть поглубже в себя, посмотреть, что делается на моем «теоретическом чердаке» я не смог бы тогда сказать, что не имею ничего общего с ревизионизмом. Моя ревизия касалась не только философской, гносеологической, стороны марксизма. Я отвергал философию Плеханова, но не это было важнейшим. По сей день считаю: из того, что писали Маркс и Энгельс, можно выжать философию не плехановского вида, а приближающуюся к критическому реализму — к эмпириокритицизму. Гораздо важнее была ревизия других пунктов. Например, вопреки Марксу, я не видел тождества законов аграрного и индустриального развития. При всех ее достоинствах книга Каутского «Аграрный вопрос» меня не убедила. Наоборот, в критике этой части Маркса влияние Булгакова, его книги «Капитализм и земледелие», было несомненным, хотя я ему противился. Столь же несомненным было в других областях влияние Туган-Барановского. Я начал сомневаться в истинности теории тру-

довой ценности: картина капиталистического развития в I томе «Капитала» может быть представлена и без теории трудовой ценности в Марксовой трактовке. Прибавочный продукт, прибавочная ценность — факт, и объяснить его происхождение можно без прибегания к теории Маркса. Категорию ценности (оценку) Маркс ошибочно отождествлял с категорией трудовых затрат. В метеорите, упавшем с неба, может быть железо, это ценность, а по Марксу, железо метеорита никакой ценности не имеет; ценностью, стоимостью он считал лишь овеществленный в предмете труд. Неверно, что прибыль, прибавочную ценность создает только «переменный капитал» — труд рабочего, прибыль создает весь вложенный в предприятие капитал. Маркс доказывал, что цены тяготеют, сводятся к трудовым затратам, а в III томе «Капитала» это решительно опровергает. Мысль Маркса все время вращается «в кругу понятий, заключающих в себе внутреннее противоречие». Критика такого рода шла в меня от Туган-Барановского, от бесед с ним, особенно одной, в Киеве, летом 1903 г.

Ревизия шла и вне влияния Тугана. У Маркса я крайне ценил картину круговорота всего общественного продукта, объяснение того процесса, что он называл «воспроизводством и обращением общественного капитала». Однако знаменитая схема этого воспроизводства, над которой мои товарищи и я до одурения корпели в 1902 г., стала мне казаться все более и более подозрительной. «Схема Маркса простого воспроизводства, — язвительно заметил мой товарищ по Политехническому институту Рабинович, — столь проста, что может легко войти в число примеров элементарного учебника арифметики Малинина и Буренина». Он был прав. Однако только через много и много лет, на основании уже советских цифр, страны, живущей якобы под знаком Маркса (бюджетных затрат, розничного оборота, амортизации и инвестиции капитала, оборотов кустарной кооперации, оборотов колхозных рынков и т.д.), удалось понять, что «малинино-буренинские» схемы во II томе «Капитала» — карикатура на решение сложнейшей и важнейшей экономической проблемы. Сильнейшее сомнение в силе и правильности Марксова анализа создало и поразившее меня, никогда и никем не цитируемое, место из III тома «Капитала», где Маркс неожиданно признается, что не может объяснить, каким образом доходы классов, составляющих страну, могут купить ее общую продукцию. «Это неразрешимая загадка, — заявил он, — анализ вообще не в состоянии постигнуть простых элементов цены, а скорее должен довольствоваться вращением в заколдованном кругу и топтанием на одном месте»^{*61}.

Попав в Женеву, несколько ознакомившись с положением швейцар-

* По этому поводу у меня был большой разговор с Лениным, заявившим, что это место я абсолютно не понял: «неразрешимую загадку» Маркс, по его мнению, великолепно разрешил. Вряд ли будет уместным здесь излагать, как в защиту своего утверждения Ленин прибег к «малинино-буренинским» схемам. (Примеч. авт.).

ских рабочих, я к прежним сомнениям прибавил еще новые: стал скептически относиться к тезису Маркса, что, какова бы ни была заработная плата рабочих, их положение в капиталистическом обществе должно ухудшаться. Реферат в Женеве на эту тему Плеханова (критика Бернштейна и Струве) мне показался очень слабым, тезис Маркса неспасающим. Признаюсь, что после реферата, взяв книгу Бернштейна, я — с неким злорадным удовольствием (у меня ведь был зуб против Плеханова!) — прочитал следующее примечание:

«У меня, конечно, не может быть охоты спорить с Плехановым, наука которого требует, чтобы мы вплоть до великого переворота признавали положение рабочих безнадежным».

Без утайки показываю то, что происходило на моем теоретическом «чердаке». «Ревизия» марксизма, несомненно, гуляла в голове, а между тем я изо всех сил пыжился быть и считаться ортодоксальным марксистом, насильственно давя, иногда с помощью уловок, возникавшие сомнения. Мой *cas de conscience**, это подавляемое сомнение в вере не в «конечную цель» (социализм), а во многие части его обосновывающего учения, не заслуживало бы внимания — будь оно лишь моим индивидуальным состоянием. В том-то и дело, что в большей или меньшей степени его испытывали и многие другие лица. В этом состоянии было нечто общее с тем, что десятки лет позднее переживали коммунисты, отклонявшиеся и в то же время смертельно боявшиеся отклониться от «генеральной линии» партии. Оставшееся загадкой для всего мира непонятное поведение на Московских процессах 1936—1938 гг. таких фигур, как Бухарин, Рыков, Пятаков, Каменев, Крестинский, Раковский и другие, не может быть объяснено только тем, что их «физически» мучили. Вместе с этим было и другое, очень сложное, что заставляло «сознаваться», считать «преступным» их уклон от «генеральной линии».

Чем лично у меня объясняется подавление в 1902 — 1904 гг. теоретических сомнений? Я опасался, что всякого рода колебания, порождая «гамлетизм», могут связывать, разлагать волю, отрицательно сказываться на хотении быть самым активным участником революции. Кроме того, несмотря на самомнение — будто очень много знаю, все же была мысль, что многого еще не знаю, что нужно еще и еще «учиться» и, следовательно, в критике марксизма быть осторожнее. Наконец, была огромная боязнь, что, не будучи правоверным ортодоксом-марксистом, я попадаю в ряды отщепенцев и тем самым из рядов революции выпадаю. Примирение, говоря словами Белинского, с «гнусной действительностью», со всеми ее социальными несправедливостями и оскорблением человеческого достоинства в моих глазах было моральным самоунижением, моральным падением, превращением в лишенного чувства общественности, эгоистического и ничтожного индивида. Гнусную действительность

могла опрокинуть только революция, и вне участия в ней я иначе не мог представить себе моей жизни. А быть в революции значило не «болтаться одиночкой», а находиться в коллективе, в партии, такой же партией я считал только социал-демократию.

Но вся партия, за исключением одного Акимова, неуклонно придерживалась ортодоксального марксизма, в самой его воинствующей крайней форме, т.е. в духе Плеханова и Ленина. Отсюда ряд неумолимых силлогизмов, из коих, казалось, вырваться уже нельзя. Если я не хочу себя морально унижать — должен быть в рядах революции; если с революцией — значит, в партии; если в партии — тогда нужно категорически отмежеваться от всякого ревизионизма, быть в полном согласии с «генеральной линией» марксизма и партии. Это обязывало, вслед за авторитетами партии, за теми же Плехановым и Лениным, считать марксизм абсолютной истиной, «не отменяемой никаким роком», в критике его видеть лишь гадкие подкопы, беспринципность, антипролетарскую ренегатскую психологию, уход в стан буржуазии. Борьба с этой враждебной критикой должна быть беспощадной, прибегать к решительным методам, возбуждаться примером самого Маркса, лупившего направо и налево и учившего искать в чужих взглядах отражение лишь темных мелкобуржуазных, буржуазных и феодальных интересов. Но как быть, что делать, если клеймение Плехановым неизвестных ему философов ведьмами с красными и желтыми глазами, если наклейка Лениным «бубнового туза» без «разбора» на всех инакомыслящих вызывали у меня тошноту, отвращение, возмущение, бунт?

Как быть? — позвольте досказать. Ведь речь, повторяю, идет не обо мне одном. С явным противоречием — внешняя ортодоксия, внутренне все растущая ревизия — я жил не только в Женеве, но и в 1905, 1906 гг., отчасти в 1907 г., когда пришло решение с этим противоречием покончить. Появилось оно в обстановке окончившейся революции (ее результаты я оценивал совсем не столь песимистично, как другие) и совпало с переходом (в конце 1907 г.) из нелегального положения, т.е. жизни с фальшивым паспортом, в положение легального. Вслед за всякими брошюрами на политическую тему и об аграрном вопросе я в это время написал «Философские построения марксизма», «Мах и марксизм», о Спинозе и Авенариусе, «Мы еще придем»⁶² и т.д. За исключением первой книги, остальные вещи не видел уже десятки лет, что они собою представляют, не имею представления, думаю — нечто весьма слабое. Что же касается «Философских построений марксизма» (изложение эмпириокритицизма Авенариуса и Маха, критика философии Плеханова, Дицгена, А. Богданова), то, несмотря на то что из 300 с лишним страниц этой книги я бы теперь больше трети перечеркнул как негодные, у меня с этой работой, писавшейся при крайне неблагоприятных условиях, связывается большое и приятное воспоминание о моем освобождении. Я вынул занозу из мозга. Перестал носить не только фальшивый паспорт, но и маску ортодокса. Открыто начал быть «ревизионистом».

* — вопрос веры или убеждений, в котором человек колеблется (фр.).

«Анализ новых фактов, более глубокое проникновение в связь и течение общественных явлений заставляют сторонников марксизма вносить в это учение целый ряд... существенных «поправок»... «ре-визия, да будет позволено так выразиться, в полном ходу» (стр. 22 названной книги).

Я не был один. Из пишущей марксистской братии, жившей тогда в Москве, — с разными вариациями — дорогой ревизии шли В. Г. Громан, З. С. Стенсель-Ленский, В. Мачинский, Т. Гейликман. Полностью отвергая философию Плеханова, вспоминая, что в Женеве я слышал от него и Ленина, я уже не стеснялся не келейно, а открыто, в печати, заявлять, что нет ничего более отвратительного, чем метод: «Сначала бубнового туза налепим, а потом разберемся».

«Несмотря на почти единодушное признание Плеханова официальным философом партии, — писал я, — мы не имеем у него ни одной вещи, где бы в ясной, связанной и обоснованной форме была бы изложена его философия или его теория познания. В разных статьях по разным вопросам приходится собирать отрывки, намеки его философских положений*». Если собрать эти частицы, эти мошки, «на которые с благоговением смотрит партия как на принадлежащие ей философские реликвии», получится картина пустоты, бесплодия, противоречий. «Но мы твердо решили собрать эти частицы, ценою хотя бы немедленного, насильственного удаления в 24 часа вон из лагеря организованного русского марксизма**».

Партийная реплика последовала незамедлительно. В 1908 г. под редакцией А. Н. Потресова и П. П. Маслова начало выходить четырехтомное издание «Общественное движение в России в начале XX века». В числе редакторов издания сначала находился и Плеханов, ушедший из него из-за статьи Потресова, в которой, при всех уступках и поправках последнего, не усмотрел достаточного прославления его заслуг в деле формирования русской марксистской мысли. В четырехтомнике мне было поручено написать об аграрном движении в 1905—1906 гг. Узнав об этом, Плеханов потребовал изгнать меня из издания, заявив, что с критиками его философии (в его глазах сливавшейся с философией Маркса) в одном издании сотрудничать не желает. Что и было сделано в «24 часа».

С письменным протестом против такого решения выступил один только В. Г. Громан. Лично на меня «изгнание» никакого впечатления не произвело. Я уже был или, вернее сказать, становился свободным, и для меня «генеральной линией» была та, которую я сам свободно выбирал, а не та, что мне навязывалась и под которую я должен был подползать***.

* См.: Валентинов Н. Философские построения марксизма. С. 22.

** Там же. С. 34.

*** Так у автора.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
-----------------------	---

1. ВСТРЕЧИ С ЛЕНИНЫМ

«Конфидансы» предисловия	17
Переход через границу. Катя Рерих	21
Встреча с Лениным. Мой большевизм	29
Попытки узнать Ленина	53
Ленин-спортсмен. История с ручной повозкой	84
Два признания	98
Ленин пишет «Шаг вперед, два шага назад». Гнев Крупской	112
Семен Петрович и профессор С. Н. Булгаков	144
Столкновение с Плехановым. Первая стычка с Лениным	158
Н. Нилов в руках Ленина	175
Бурное столкновение с Лениным. Я взбунтовался	187
Две встречи. Полный разрыв с Лениным	201
Заключение	220

2. МАЛОЗНАКОМЫЙ ЛЕНИН

От автора	239
«Ульяновский фонд»	241
Чудесная ссылка	250
Миф о жизни впроголодь	264
Благополучие Ленина в годы первой революции	277
Наследство Н. П. Шмита	292
От проспективэ к ненадежности	314
«Дашь хлеб, и человек преклонится»	324
Угроза «поколебанием». Наследство тетки Крупской	335

3. РАННИЕ ГОДЫ ЛЕНИНА

О предках Ленина и его биографиях	363
Ленин в Симбирске	378
Выдумки о ранней революционности Ленина	398
Брат Ленина — А. Ульянов	414
Превращение Владимира Ульянова в Ленина	428
Ленин в Кокушкине	444
Ленин в Казани и Самаре	459
Встреча Ленина с марксизмом	479
Чернышевский и Ленин	495
Примечания	536

революции. Выражала преимущественно интересы торгово-промышленной и земледельческой буржуазии. Встала у власти после свержения монархии (10 августа 1792 г.). Противодействовала дальнейшему развёртыванию революции. Народное восстание 31 мая — 2 июня 1793 г. свергло власть Жиронды.

⁵⁵ Имеется в виду письмо представителей Уфимского, Средне-Уральского и Пермского комитетов, опубликованное в газете «Искра» (1904. № 63). В нем дается оценка «историческому повороту», «новому курсу» «Искры», который, по мнению авторов письма, обозначился с выходом В. И. Ленина из состава ее редакции. Одновременно авторы излагают свой взгляд на организационные принципы строения партии, обосновывая необходимость строгой централизации.

⁵⁶ С конца июля (ок. 21-го) и до начала сентября 1904 г. В. И. Ленин вместе с Н. К. Крупской, ее матерью Елизаветой Васильевной и сестрой М. И. Ульяновой отдыхал в деревне Бомбон (департамент Сены и Марны, провинция Бри) в 50 км от Парижа.

⁵⁷ Е. Юрьевский — один из литературных псевдонимов Н. В. Вольского, которым он стал подписывать свои статьи с 1931 г., оказавшись в эмиграции. С помощью нового псевдонима он рассчитывал уберечь от неприятностей своих родственников, оставшихся на родине.

⁵⁸ Монадология — учение о монадах, развитое Г. Лейбницем в одноименном сочинении (1714). Г. Лейбниц считал, что реальный мир состоит из бесчисленных психических субстанций (монад), находящихся между собой в отношении предустановленной гармонии.

⁵⁹ Речь идет о статье С. Н. Булгакова «Основные проблемы теории прогресса».

⁶⁰ «Рассвет» — социал-демократический листок для сектантов. Издавался в Женеве В. Д. Бонч-Бруевичем на основе решения II съезда РСДРП. Первый номер вышел в январе 1904 г., осенью того же года издание «Рассвета» было прекращено. Всего вышло 9 номеров.

⁶¹ Автор дает личный перевод приведенной цитаты. (Ее точный перевод см.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 25. Ч. 2. С. 411).

⁶² Брошюра Н. Валентинова «Мы еще придем! О современной литературе» была издана в Москве в 1908 г. О других названных брошюрах автора см. в Предисловии.

⁶³ Указанная статья Г. В. Плеханова была помещена в газете «Искра», № 65 от 1 мая 1904 г.

⁶⁴ «Правда» — ежемесячный социал-демократический журнал, посвященный вопросам искусства, литературы и общественной жизни. Выходил в Москве в 1904—1906 гг., главным образом при участии меньшевиков. Для него писали Ф. И. Дан, Л. Мартов, П. П. Маслов. Н. Валентинов также входил в число сотрудников журнала.

⁶⁵ Автор приводит цитату из статьи Г. В. Плеханова «О былом и небылицах», опубликованной в журнале «Пролетарская революция» (1923. № 3. С. 30—31).

⁶⁶ Гандверк — самый большой в начале XX в. зал в Женеве, предназначенный для проведения публичных мероприятий.

⁶⁷ Правильное название указанной книги Р. Авенариуса: «Der menschliche Weltbegriff» (Человеческое понятие о мире. 1891).

Книга Э. Маха «Analyse der Empfindungen» («Анализ ощущений») издана в 1886 г.

⁶⁸ Солипсизм — признание единственной реальностью только своего «я», отрицание существования внешнего мира.

⁶⁹ Автор дает свой, приблизительный, перевод цитаты из книги Р. Авенариуса «Человеческое понятие о мире».

⁷⁰ Речь идет о статье П. Лафарга «Le matérialisme de Marx et l'idéalisme de Kant», опубликованной в газете «Le Socialiste» (1900. 25 февраля).

«Le Socialiste» («Социалист») — еженедельная газета, выходила с 1885 по 1915 г. сначала как теоретический орган Французской рабочей партии, с 1902 г. — орган Социалистической партии Франции, с 1905 г. — орган Французской социалистической партии. В газете печатались статьи деятелей французского и международного рабочего движения, в том числе П. Лафарга, В. Либкнехта, К. Цеткин, Г. В. Плеханова и других.